Н. С. ЛЕСКОВ

ЛЕВША

Д





ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. С. ЛЕСКОВ

ЛЕВША

СКАЗ О ТУЛЬСКОМ КОСОМ ЛЕВШЕ И О СТАЛЬНОЙ БЛОХЕ



Москва «Детская литература» 1979

Предисловие Ю. Нагибина

Рисунки Т. Шишмаревой

Лесков Н. С.

Л50 Левша: (Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе) / Предисл. Ю. Нагибина; Рис. Т. Шишмаревой.— М.: Дет. лит., 1979.— 48 с., ил. (Школьная б-ка).

10 к.

Знаменитый сказ Н. С. Лескова вышел из народной прибаутки: «Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали».

Центральный герой сказа — левша, талантливый русский мастер, преданный патриот своей родины. По словам самого писателя: «Там, где стоит «левша», надо читать «русский народ».

Л $\frac{70803-457}{М101(03)79}$ 133—79 Р1

МАСТЕР СКАЗА

Николай Семенович Лесков один из самых замечательных и сложных писателей в русской литературе. И нет ничего удивительного, что он остался недопонятым современниками. Лишь А. М. Горький отвел Лескову полагающееся ему место среди русских классиков: «Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров...»

Конечно, и при жизни Лескова знали, ценили, жадно читали, многие его произведения были переведены на иностранные языки, и все же, почти до последних дней, он горестно сознавал свою недостаточную признанность. Лишь перед самой смертью сказал он с облегчением: теперь меня с читателями не поссоришь.

Лесков был резко непохож на других русских классиков, рядом с которыми поставил его А. М. Горький. Странен современникам был и его причудливый язык со множеством им же самим изобретенных слов, и выбор героев, среди которых преобладали чудаки, сроду не встречавшиеся в литературе да и не часто попадающиеся в жизни. Непривычна была манера сказа, столь характерная для многих его лучших произведений, когда автор уступает роль повествования какому-нибудь мудреному человеку: страннику, артельному мастеру, старой няньке. Удивляла и лесковская тематика, и его порой весьма едкий юмор, и переменчивость во взглядах, и крутой, нетерпимый характер, ведь люди, жившие в одно с ним время, не всегда могли отделить личность писателя от его творчества. Но нам, живущим в другой эпохе, нет дела до его трудного, часто невыносимого для окружающих характера, нам дорого

и ценно его замечательное творчество. Лесков подлинный кудесник, волшебник русской прозы, то, что умел он, не умел никто другой. И сказ «Левша» в этом смысле необычайно типичен для Лескова, он являет в сгущенном виде все особенности литературной манеры писателя.

Лескова породила урожайная на первоклассные таланты орловская земля. Будущий писатель увидел свет в семье небогатой, neзнатной и нечиновной. Его отец Семен Дмитриевич, попович, сызмала предназначенный к рясе, как было положено в сельском духовенстве, восстал против векового порядка и отказался от духовного сана, за что был изгнан суровым родителем «без куска хлеба за пазухой халата». Он сменил много городов и служб, нигде не ужился и в конце концов вернулся на родную Орловщину. Здесь он вскоре женился на девице дворянского рода Марии Петровне Алферьевой. Видать, незаурядной личностью был поповский сын, если за него пошла девушка «благородного», как тогда говорили, происхождения. Но сама Мария Петровна мало походила на обычную уездную девицу — то была натура глубокая, страстная, властолюбивая, непокорная. Будущий писатель унаследовал крутой, суровый характер матери, правда, расцвеченный живыми красками отцовской натуры.

Жили Лесковы без особого достатка. Семен Дмитриевич сперва служил на казенной службе, затем «забредил полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать». Жизнь на хуторе очень много дала маленькому Лескову. Он попал в гущу народную, и его самые впечатлительные годы прошли вблизи деревенского люда, вблизи тех, кто кормит Русь. Там впервые повстречал Лесков тех редких чудаков, которыми позднее населил свои рассказы и романы.

В 1841 году кончилась привольная жизнь Николая, его отвезли в Орловскую гимназию. Время, проведенное им в Орле, значительно не теми скудными сведениями, которые вдалбливала в головы учеников николаевская гимназия, а запасом пестрых жизненных наблюдений. Каким разнообразием типов провинциальной жизни наградил будущего писателя Орел: дворян и мещан, чиновников и священнослужителей, праведников и мошенников, юродивых и хитрецов, буянов и тихих созерцателей, доморощенных талантов и придурков, злодеев и народных заступников. Как цельно, крепко и подробно запомнил их всех Лесков, сам еще не зная, для чего ему эта память, запомнил со всеми их ухватками, словечками, ужимками и вывертами, с их смехом и слезами, радостью и отчаянием, высотой и низостью. Потому и занимают Орел и Орловщина так много места в его творчестве.

Со смертью отца оборвалась гимназическая учеба Лескова, а с ней

и вообще «положился предел и правильному продолжению учености,— как писал он впоследствии.— Затем — самоучка».

Около трех лет прослужил он на Орловщине в уголовном суде, а потом уехал на Украину к дяде по матери, известному киевскому врачу С. П. Алферьеву. Древняя столица Руси стала его «духовной родиной». Он прикоснулся тут к университетской учености, прослушав, пусть отрывочно, курсы по сельскому хозяйству, русской словесности и криминалистике. Свел близкое знакомство в доме дяди со многими талантливыми учеными, сблизился с университетской молодежью, приобщился к древнему русскому искусству в Киево-Печерской лавре. Лесков стал вхож в художественные мастерские, овладел украинским и польским, что впоследствии так обогатило язык его сказов...

А затем начался новый период жизни Лескова, ставшего семейным человеком. Ему пришлось взять место у обрусевшего англичанина Шкотта, управляющего громадными имениями в Пензенской губернии.

В жизнь Лескова вошел новый пейзаж — Поволжье, новые типы людей и новые обычаи. В эту пору он много ездит по стране — вдоль всей волжской магистрали: от Каспийского моря до Рыбинска и дальше по Мариинской системе до Петербурга. Знакомится с бытом башкир, татар и других народностей, населяющих Поволжье, нередко бывает в Москве, сопровождает барки с переселенцами, ездит на Нижегородскую ярмарку, встречается со множеством любопытнейших людей из самых разных слоев русского общества. Лесков сам считал, что служба у Шкотта дала ему очень много для познания жизни. «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучал его на месте... По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках Шкотта».

В 1861 году в одном из лучших тогдашних журналов «Отечественные записки» появляется большой очерк Лескова, посвященный винокуренной промышленности. То не было первой публикацией. Еще живя в Киеве, Лесков помещал в местных изданиях заметки и статейки по разным злободневным вопросам, и все же именно этот серьезный и примечательный опыт принято считать началом литературной деятельности Николая Семеновича Лескова. Очерк был замечен, однако мало кто думал, что в русскую литературу шагнул один из самых ярких и оригинальных художников слова. Лишь наиболее проницательные современники Лескова поняли это. Влиятельный критик Аполлон Григорьев усмотрел в очерках начинающего журналиста незаурядный беллетристический талант.

В 1863 году Лесков опубликовал в «Отечественных записках» свой

первый рассказ «Овцебык». Тут уже было всё, что отличало зрелого Лескова: от диковинного названия до причудливой словесной вязи.

Хорошее было начало у Лескова, он сам испортил свое литературное положение. Сперва неосторожным газетным выступлением по поводу петербургских пожаров — современники не без оснований решили, что он подозревает в поджогах прогрессивных петербургских студентов, а затем тремя большими, художественно несовершенными романами, в которых крайне отрицательно изобразил передовых людей шестидесятых годов. Лесков яростно защищался от критики, утверждая, что он нападал лишь на тех «новых людей», в ком унижен «чистый тип Базарова», а других изображал с нежностью и уважением. Это отчасти верно, если иметь в виду таких героев «Некуда», как Райнер, Лиза Бахарева, студент Помада или Ванскок из романа «На ножах». И все же правы были критики: названные герои тонули в массе карикатурных лиц. Лесков и сам называл «Некуда» «историческим памфлетом». Что касается самого злобного из трех романов — «На ножах»,— то в конце жизни Лесков будет горько жалеть, что написал его.

От молодого писателя многие отвернулись. Пройдут годы и годы, прежде чем русское общество простит Лескову его заблуждения. То было тяжелое, мучительное время в жизни писателя, порой казалось, что ему уже не подняться, что он навсегда останется пасынком русской литературы. Но он поднялся...

Так что же спасло Лескова? Вот что он сам писал о себе:

«Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а *я вырос в народе,* на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом... Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле[1], где живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, в оные былые времена отмаливал своими детскими слезами от палок и розог... Я стоял между мужиком и связанными на него розгами...»

Народным духом, любовью и близостью к народу и был спасен Лесков. Он увидел в русском национальном характере одухотворенную красоту, силу духа, неодолимую стойкость. Величайшая заслуга Лескова в том, что он привел в русскую литературу таких героев, как чистый сердцем Голован («Несмертельный Голован»), как страшный видом и

[1] Гостомля — узкая речка на Орловщине, в родных Лескову местах.

святой сердцем мужик Пугало из одноименного рассказа, как тот солдатик, что покинул пост, дабы спасти утопающего человека («Человек на часах»), как тульский самородок левша, который и на смертном одре помнит лишь о пользе государства и народа русского.

А еще Лесков создал целую галерею образов русских богатырей, могучих и телом и духом, способных горы передвинуть, землю и небо местами поменять, величайшие дела совершить для человечьей пользы, таковы хотя бы дьякон Ахилла из романа «Соборяне» или странник Северьяныч, которому «за народ помереть очень хочется» («Очарованный странник»).

Все большие русские писатели горячо любили народ, кровавыми слезами обливались над его муками. Но они видели в народе прежде всего страдательное начало. И это неудивительно, такова была российская действительность. Герои дореволюционной русской литературы, взятые из народа, всегда несчастливы, загнаны, обречены. Порой они так и светятся добротой и благородством, но до чего же жалка, беспомощна, бессильна их доброта! Новые герои — люди сильные, красивые, страстные, жертвенные, бунтари и борцы появятся у Горького. Но и сам Горький считал, что не он первый высмотрел таких людей в российских сумерках, а Николай Семенович Лесков. Отсюда и преданная любовь Горького к Лескову, отсюда их прочная, хотя и трудно уловимая поверхностным взглядом связь. Оба крепко верили в измученный, замордованный, испытанный холодом и голодом, произволом помещиков и чиновников, великий и бессмертный русский народ, в его прочный, охватистый ум, выносливую душу, моральную силу и готовность к подвигу. Когда смотришь на героев Лескова и Горького, любуешься их удалью и силой, верностью нравственному долгу, чистотой и несокрушимостью, понимаешь, почему забитая, нищая, отсталая Россия первой в мире осуществила великое дело социализма.

С годами, принесшими зрелость, взгляды Лескова на жизнь и общество изменились. Ему уже не хотелось высмеивать тех, кто в меру сил и разумения стремился принести пользу простому народу. У его сатиры появились другие цели: крепостники-помещики, жадные и глупые царские чиновники, ханжи-святоши, нравственные шарлатаны, церковники и сама царская власть, которую он зло высмеял в «Левше».

«Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» принадлежит к шедеврам лесковского творчества и стоит в одном ряду с такими его прославленными произведениями, как: «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тупейный художник», «Человек на часах», «На краю света», «Несмертельный Голован», «Очарованный

страииик». Долгое время среди литераторов и широкой публикн бытовало миеиие, будто Лесков всего лншь обработал народиое сказаине. Этому заблуждеиию способствовал сам Лесков, давшнй своему рассказу при первопечатаинн подзаголовок: «Цеховая легеида». Он н дальше утверждал, что «Сказ о стальной блохе» есть «оружейная легеида», выражающая «гордость русских мастеров ружейного дела». Надо думать, он делал это, дабы хоть как-то защитить свое пронзведеиие от нападок критиков, которые в ту пору были безжалостиы к нему. Уловка помогла лишь отчасти: критикн действительио не касались сюжета, веря в его доброкачествеиное фольклориое пронсхождеиие, ио к глубиииому смыслу дивного, причудливого сказа осталнсь глухн. А по прошествии известиого временн Лесков открыл карты: «Всё, что есть чисто *народного* в «Сказе о тульском левше и о стальиой блохе», заключается в следующей шутке нлн прибаутке: «англичаие из сталн блоху сделали, а иаши туляки ее подковали да им иазад отослали». Более иичего иет о «блохе», а о «левше», как о герое всей исторнн ее и о выразнтеле русского иарода, иет инкакнх народных сказов, и я считаю иевозможным, что об ием кто-иибудь «давио слышал», потому что,— прнходнтся призиаться,— я весь этот рассказ *сочинил* в мае месяце прошлого года, и *левша* есть лнцо *мною выдуманное.* Что же касается самой подковаиной тулякамн английской блохн, то это совсем ие легеида, а коротенькая шутка или прибаутка, вроде «немецкой обезьяны», которую «иемец выдумал», да она садиться ие могла (всё прыгала), а московский меховщнк взял да ей *хвост пришил,*— она и села. В этой обезьяие н в блохе даже одна н та же идея, и одии и тот же тои...»

Образ левшн куда глубже и значительией, чем может показаться при поверхиостном чтеиии. Лесков недаром говорил: «...там, где стоит «левша», надо читать «русскнй иарод». Да, всё, чем был богат и иищ замордованиый самодержавием русскнй иарод, мы находим в левше: безмериую одареиность, высокую иравствеииость н дремучую необразованность. Ои совершил диво дивиое — подковал стальную аглицкую блоху, ио, не зная «расчет силы» и четырех правил арифметики, лишил блоху способиостн прыгать. Ему в чужих землях райскую жизнь сулят, а ои все же стремнтся иа свою бедиую родиину, хотя там его ие ждет ничего хорошего. И с мыслью о родиие умирает...

В этом рассказе что ии образ — открытне: «мужественный старик» атаман Платов, растерявшнй иа дворцовом паркете гордость бесстрашного воииа, самовлюблеииый царь Нnколай, холодиый и подлый карьерист граф Чериышев, спившийся аиглнйский «полшкипер» — н главные, н второстепенные персонажи поражают искусством словесиой лепкн.

«Левша» стилизован под народный лубок. Это очень характерно для Лескова. Он часто в своих небольших произведениях пользовался формой с к а з а. То есть излагал историю от лица какого-нибудь простого человека, который был участником или свидетелем тех событий, о которых идет речь. Скажем, «Запечатленный ангел» поведан артельным плотником Марком Александровичем, история крепостного парикмахера, «тупейного художника» — старой нянькой, похождения «Очарованного странника» — самим странником Иваном Северьяновичем Флягиным. В «Левше» рассказчик не обозначен впрямую, но легко догадаться, что это тульский мастеровой, похожий на самого левшу, такой же простодушный и даровитый, наивный, но с русской лукавинкой. Это не значит, что Лесков старается буквально передать живую речь той среды, которой принадлежит выбранный им рассказчик. Нет, дело сложнее. Лесков создает о б р а з этой речи — обобщенный, причудливый, узорный. Его странные словечки не подслушаны в народе, а придуманы писателем. Насколько были бы мы беднее без «клеветона», «нимфозории», «буреметра», «мелкоскопа», «тугамента», «Аболона Полведерского», «графа Кисельвроде», «полшкипера», «водоглаза», «студинга», «кривопутка» и «морской свинки», приключившейся с левшой от корабельной качки.

Подобную работу над словом не проделывал ни один русский писатель. Не ради пустой игры занимался словесным изобретательством Лесков, нет, им чудесно освежен, взбодрен и обогащен наш литературный язык. «Кудесником», «волшебником» слова остался в великой русской литературе Николай Семенович Лесков.

Не стоит читать его книги наспех, между делом, в метро или в автобусе. Надо выбрать свободное время, отринуть суету и с глубоко дышащей грудью ступить в колдовской мир Лескова...

Юрий Нагибин



Глава первая

Когда император Александр Павлович окончил венский совет[1], то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов[2], который этого склонения не любил

[1] Александр I от имени России, победившей в войне с Наполеоном, участвовал в Венском конгрессе (1814—1815), который определил границы государств, подвергшихся наполеоновскому нашествию, и восстановление их социального строя.

[2] Платов Матвей Иванович (1751—1818) — граф, генерал, атаман донских казаков, герой войны с Наполеоном.

и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,— и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,— Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор я еще терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру[1] смотреть. Там,— говорит,— такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый[2] нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки[3], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень[4] богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

Глава вторая

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры

[1] К у и с т к а м е р а — музей, собрание редкнх вещей.

[2] Г р а б о в а т ы й — горбатый.

[3] К и з л я р к и. *(Примеч. автора.)* К и з л я р к а — виноградиая водка из города Кизляра.

[4] С к л а д е и ь — складиая икона.

до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит,— только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи[1] мантоны[2] пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык[3] прогнали.

Государь говорит:

— Это бездрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье[4], а из другой пистолю.

— Вот,— говорят,— какая у нас производительность,— и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии[5] из-за пояса выдернул.

---

[1] Мерблюзьи *(искаж.)* — верблюжьи.

[2] Мантоны (манто) — здесь: пальто.

[3] Дванадесять язык — двенадцать языков, то есть нашествие наполеоновской армии, состоящей не только из французов.

[4] Мортимерово ружье — ружье, сделанное английским оружейником Г.-В. Мортимером (жил в конце XVIII в.).

[5] Канделабрия — Калабрия (Италия), по созвучию с канделябром.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах,— говорит,— как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов,— совсем того не понимаю»,— и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава третья

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чуже-

земные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться; но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво*[1]?

А англичане и не знают, что это такое молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот,— говорят,— изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

---

[1] Сахар молво — сахар, изготовленный на заводе Я.-Н. Молво в Петербурге.



Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это,— отвечают,— не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет,— отвечают,— не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же,— государь говорит,— я его не вижу?

— Потому,— отвечают,— что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте,— говорят,— взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами,— хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр,— говорит,— всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай.— И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же,— говорит,— принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия



и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота[1]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

[1] «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея *Федотова*-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то *Федотов*-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». *(Примеч. автора.)*

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку[1], в которую сразу целый фунт Жукова табаку[2] входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты,— говорит,— к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

Глава четвертая

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна[3] посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое,— говорит,— теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны,— а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение[4], но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки брильянтовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

---

[1] Корешковая трубка — сделанная из корешка дерева.

[2] Жуков табак — трубочный табак фабрики В. Жукова (20—50-е годы XIX в.).

[3] Императрица Елисавета Алексеевна (1779—1826) — жена Александра I.

[4] ...Было смятение — восстание декабристов.



Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки[1] химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки,— но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать,— никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

---

[1] Из противной аптеки — то есть аптеки, расположенной на противоположной стороне улицы.

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я,— говорит,— пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это,— говорит,— так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии,— и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это,— говорит,— ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке,— тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали,— не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Глава пятая

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем,



потому что аглицкая нацыя тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее,— говорят,— надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать,— остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть,— говорит,— будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего,— я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу,— тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы,— говорят,— мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А *что именно,* этого так-таки и не сказали.

Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

Глава седьмая

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон[1]: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше[2]. Икона эта вида «грозного и престрашного» — святитель Мир-Ликийских[3] изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «Мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, всё молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

---

[1] Святой Афон — греческий полуостров с большим количеством монастырей; место паломничества богомольцев-христиан.

[2] Зуша — река, приток Оки, на которой расположен г. Мценск.

[3] Святитель Мир-Ликийских — архиепископы города Миры, в Ликии (IV в.), прозванный Николаем-чудотворцем.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит,— не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда,— и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава восьмая

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили,— тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной

публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

Глава девятая

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли

и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

Глава десятая

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Всё,— отвечают,— готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор[1] на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех,— видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду,— и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

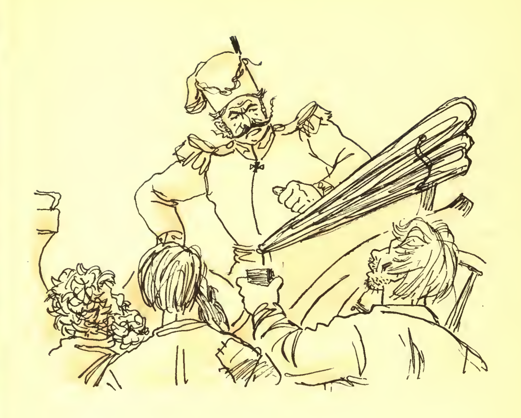
— Где ключ от блохи?

— А тут же,— отвечают.— Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил,— никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

---

[1] Форейтор — кучер, сидящий верхом на передней лошади.



Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете,— мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,— мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди,— говорит,— здесь до самого Петербурга вроде пубеля[1],— ты мне за всех ответишь. А вы,— говорит свистовым,— теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента[2] увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

Глава одиннадцатая

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

---

[1] Пубеля — пуделя.
[2] Тугамент — документ.

— Нимфозория,— говорит,— ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

Глава двенадцатая

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех,— а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

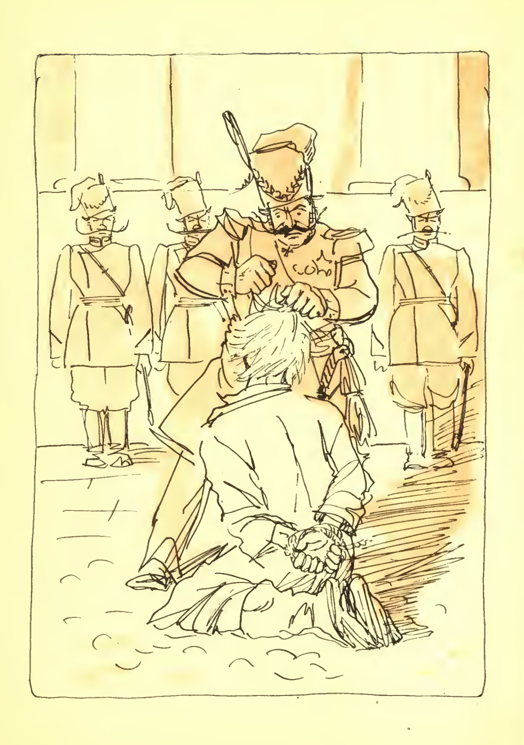
— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то,— говорит Платов,— что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:



— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказать, а левше только погрозился:

— Я тебе,— говорит,— такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят,— потому они его терпеть не могли за храбрость.

Глава тринадцатая

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.— И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком,— словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит.

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик[1] старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает.— Если государю угодно меня видеть, я

[1] Озямчик — крестьянская одежда вроде пальто.



должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить,— пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы,— говорит,— вот как клали.— И положил блоху под мелкоскоп.— Смотри,— говорит,— сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо,— говорит,— всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи,— говорит государь,— это уже очень сильно мелко!

— А что же делать,— отвечает левша,— если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

Глава четырнадцатая

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы,— говорит,— был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы,— говорит,— увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет,— отвечает левша,— моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому,— говорит,— что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,— там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит,— это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть,— говорит,— над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде[1] велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

Глава пятнадцатая

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще у́же перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: *«Ай люли — се тре жули»*[2].

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал

[1] Граф Кисельвроде — сатирическое переиначивание фамилии министра иностранных дел в 1822—1856 годах графа К. В. Нессельроде.

[2] Се тре жули *(франц.)* — это очень мило.

шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а ка́к чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет,— англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг[1] в огне,— он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские[2] ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон[3] вышел.

— А самого этого мастера,— говорят,— мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад,— говорят,— камрад — хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает,— может быть, отравить с досады хотите.

— Нет,— говорит,— это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,— сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

---

[1] Студинг — словообразование от «пудинг» и «студень».

[2] Публицейские — от слов «публичные» и «полицейские».

[3] Клеветон — от слов «фельетон» и «клевета».

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону[1] воды с ерфиксом[2] приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арихметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это,— спрашивают,— за книга в России «Полусонник»?

— Это,— говорит,— книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом,— говорит,— спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня,— говорит,— дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

---

[1] Симфон — сифон для воды.

[2] Ерфикс *(франц.)* — отрезвляющее средство.



— Мы,— говорит,— к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы,— говорят,— обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого,— ответил левша,— никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому,— отвечает,— что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы,— говорят англичане,— нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие,— отвечает левша,— действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому,— отвечает,— есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие,— говорит,— что у нас есть и боготворные иконы и

гроботочивые[1] главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают.— Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это неважно суть — узнать можете: мы вам грандеву[2] сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить.— И отнекался.— Грандеву,— говорит,— это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если,— говорят,— без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас,— говорит,— когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нацыи не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы,— говорят,— только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках

[1] Гроботочивые — мироточивые, источающие благовонную жидкость.

[2] Грандеву (рандеву; *франц.)* — любовное свидание.

какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма[1].

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия,— отвечает левша,— нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же,— говорят,— ваш фасон лучше?

— Наш фасон,— отвечает,— в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом,— говорят,— мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались,— и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом[2], а с обучением и имеет себе понятия.

[1] Плисовая тальма — пальто без рукавов из дешевой, под бархат, ткани.

[2] С бойлом — с побоями.

Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет,— засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это,— говорит,— против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли,— говорит,— я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как,— говорит,— они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр,— говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море[1].

— Это все равно,— отвечает,— где умереть,— все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили

---

[1] Твердиземное море — Средиземное.



ему на память золотые часы с трепетиром[1], а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли в буфты[2] в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

---

[1] С трепетиром — с репетиром (боем).

[2] Буфта — бухта.

— Нет,— отвечает,— мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец,— говорит,— рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так,— отвечал полшкипер,— так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо,— говорит,— идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это,— говорит,— не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

Глава семнадцатая

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде[1], но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось.

[1] Динаминде (Дюнамюнде) — старое название порта Даугавгрива — в устье реки Даугавы.

Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин[1].

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь,— говорит,— я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать,— а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

Глава восемнадцатая

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

[1] Мурин — негр.



Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате[1] лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого стану́т пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу[2], где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью[3] съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

Глава девятнадцатая

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы,— говорит,— два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Кле́йнмихелю[4] и зашумел:

— Разве так можно! У него,— говорит,— хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Пла́тову — он простые чувства имеет».

---

[1] На холодном парате — на каменном крыльце.

[2] Обухвинская больница — Обуховская больница для бедных в Петербурге.

[3] С рысью — с рисом.

[4] Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869) — министр путей сообщения.

Аигличаиии достиг Платова, который теперь опять иа укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец,— говорит,— очеиь коротко с иим зиаком, даже за волоса его драл, только ие зиаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию[1] получил — теперь меия больше ие уважают,— а ты беги скорее к комеидаиту Скобелеву[2], ои в силах и тоже в этой части опытиый, он что-иибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезиь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезиь поиимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного зваиия, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартыи-Сольского[3].

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже коичался, потому что у иего затылок о парат раскололся, и ои одно только мог виятио выговорить:

— Скажите государю, что у аиглячаи ружья кирпичом ие чистят: пусть чтобы и у иас ие чистили, а то, храии бог войиы, оии стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чериышеву[4] доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев иа иего закричал:

— Зиай,— говорит,— свое рвотиое да слабительиое, а не в свое дело не мешайся: в России иа это генералы есть.

Государю так и ие сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампаиии. В тогдашиее время как стали ружья заряжать, а пули в иих и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартыи-Сольский Чернышеву о левше и иапомнил, а граф Чериышев и говорит:

— Пошел к черту, плезириая трубка[5], ие в свое дело ие мешайся,

---

[1] Пуплекцию получил — апоплексический удар, паралич.

[2] Скобелев Иваи Никитич (1778—1849) — геиерал, комеидаит Петропавловской крепости.

[3] Мартыи-Сольский (Сольский Мартии Дмитриевич; 1798—1881) — врач при гвардейских полках.

[4] Чериышев Алексаидр Иваиович (1786—1857) — воеииый мииистр.

[5] Плезириая трубка — здесь: в значении клистириая.

а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал,— тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется»,— так и молчал.

А доведи он левшины слова в свое время до государя,— в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

Глава двадцатая

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины»[1], хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

---

[1] «...Дела минувших дней», «преданья старины» — из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для средней школы

Николай Семенович Лесков

ЛЕВША

(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)

Ответственный редактор *В. А. Сокол*
Художественный редактор *Н. И. Комарова*
Технический редактор *М. В. Журавлёва*
Корректор *Н. А. Сафронова*

ИБ № 3409

Сдано в набор 19.03.79. Подписано к печати 12.09.79. Формат 70×100/16. Бум. офс. № 2. Шрифт литерат. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,9. Уч.-изд. л. 2,87. Тираж 2 500 000 экз. Заказ № 849. Цена 10 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Набор изготовлен автоматизированной системой «Союз» на ЭВМ «Минск-32».



10 коп.

Издательство «Детская литература»